

Н Ф Павлов

**Именины**

**Павлов Н Ф**  
**Именины**

Н.Ф.ПАВЛОВ  
ИМЕНИНЫ

Я. В. Чичерину

Тебе понятна лжи печать;

Тебе понятна правды краска;

Я не умел ни разу отгадать,

Что в жизни быль, что в жизни сказка.

Jul.

What's in a name? that which we call  
a rose, By any other name would srael  
as sweet.

Rom.

My name, dear saint, is hateful to  
myself.

Shakespeare: "Rom. and Juliet."

[Джюльетта. Что в имени? То, что мы называем розою, пахло бы так же приятно и под другим именем.]

Ромео. Мое имя, милый ангел, ненавистно мне самому.

Шекспир. "Ромео и Джульетта" (англ.)]

Когда-то я познакомился с одним семейством, которое, по воле судьбы, рано сошло со сцены.

Смерть застала его по разным углам Рос-

сии, и воспоминание о нем сохранилось, может быть, только у меня в сердце. Муж умер от холеры в Бессарабии, жена исчахла в саратовской деревне, а малолетний сын скоро последовал за родителями на руках у какой-то оренбургской помещицы. Я не назову своих отживших знакомцев, потому что с их именами не соединяется память об услуге человечеству, о мысли, завещанной ему в наследство. Они прошли мимо как люди обыкновенные; они были, их нет: вот книга их бытия.

Но провидение, испестрившее природу красноречивым разнообразием, отметило каждое существо особенными чертами: потому-то человек везде равно достоин внимания, потому-то в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлению. Приглядишься к мирному жильцу земли, к последнему из людей: в нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесется на волнах жизни из края в край, кого закинут они на высоту бессмерт-

ного счастья или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу, под домашнею кровлей; причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную, и его поучительные удары падают без свидетелей, посреди тихого семейного быта, как падает молния на путника, застигнутого бурей в безлюдной степи.

Н. был человек лет тридцати, когда я встретился с ним в первый раз. Он только что женился. Трудно и почти невозможно передать словами тот угар счастья, который туманил тогда его голову. Он видел в жене и друга, и любовницу, и цель жизни, и, наконец, все, что привязывает нас, что веселит глаза и увлекает душу. Молодая, резвая, милая, она, казалось мне, остановила также свои желанья на одном муже и искренно отдалась ему. Его просвещенный ум, образованная жизнь понравились мне, и я старался сблизиться с ним. Человек в минуту упоения всякому рад, всякого принимает в свои теплые объятия.

Н. проводил охотно со мною время, и мы, говоря по-светски, подружились. Часто я бы-

вал у него и всегда с некоторою завистью любовался картиною семейного блаженства. Муж и жена, как нарочно созданные друг для друга, жили один другим. Каждому достались на часть и ум, и любезность, и независимость состояния. Смотря на них, я думал: "Вот нелицемерная дружба, вот непритворные ласки, вот неподдельная веселость!" Мне помнится, что в то время я желал только одного: такой же себе жены, как жена моего приятеля; мне помнится, что в то время я не променял бы такой жены ни на уверенность в бессмертии моего имени, ни на генеральский чин. N. рассказывал мне подробности своей женитьбы: как он встретил в Саратовской губернии девушку, воспитанную просвещенными родителями, влюбился и понравился; как он был предметом первой любви, первых восторгов ее младенческого сердца, неповинного в столичной суете. N. говорил мне беспрестанно о своем намерении оставить службу и поселиться в деревне с книгами и женою. Этот образ жизни почитал он самым покойным и приятным: это была его любимая мечта. Наконец для исполнения своего предприятия он

отправился на короткое время в Петербург хлопотать по разным делам, а жена поехала с своей теткой в деревню, куда, по окончании дел, и он должен был переселиться. Мы расстались; я не видал его года полтора и полагал, что никогда не увижу.

Однажды я сидел в театре и, с нетерпением ожидая конца, зевал без цели по сторонам, как вдруг входит в одну ложу человек, которого лицо поразило меня: черты знакомые...

всматриваюсь... это N. Он пустился в длинный разговор с одною дамой, и я долго понапрасну старался привлечь его внимание.

Однако ж он увидел меня, сошел в кресла. С каким любопытством, с каким удовольствием бросился я к нему. Он приметно обрадовался мне; но это была радость степенная, радость человека возмужалого. Разумеется, я предложил ему кучу вопросов, на которые он отвечал отрывисто, что три дня как переехал совсем в Москву, что в деревне жить невозможно: одни соседи замучат.

Я расспрашивал о жене, но он не очень распространялся о ней.

Можно судить о моем удивлении. Мы усло-

вились, чтоб я у него обедал на другой день, и разошлись. Он поспешил в ту же ложу любезничать с известною красавицей. В его походке я заметил перемену: он хромал немного.

Опять явился я в этом доме, который некогда заставил меня размыслиться о семейной жизни, о милой жене, о согласии двух сердец; опять вошел в этот храм, который некогда освещался яркими лучами радости, где каждый звук, долетавший до моего слуха, был отголоском очаровательной любви. Я нашел все по-прежнему: те же ковры, те же цветы, ту же бронзу, по-прежнему хозяйка встретила меня; но лучшая роза потеряла уже весеннюю свежесть: уныло смотрела она; ее шаги были медленны; алые щеки побледнели. Поднялся занавес, и два супруга разыграли передо мной второе действие судьбы своей. Тут я не видал более равенства между ними; они разучились уже угадывать друг у друга мысли, предупреждать желания; тут в каждом слове, в каждом взгляде муж напоминал, что он глава жены. Неисцелимое равнодушие к ней проглядывало во всех его поступках, во всех мелочах, и я убедился, что нет в природе му-

скуса, который продолжил бы жизнь умирающей любви; нет зажигательных стекол, которые снова запалили бы охолодевшее сердце мужа.

В обхождении с женою N. свято хранил наружные условия светского воспитания, но в каком нравственном унижении держал ее! Что б ни сказала она, он возражал на все. Его возражения были учтивы, но под этой учтивостью скрывалась почти всегда язвительная насмешка. Хотела ли жена сделать новое платье, поехать на вечер - муж не противился, но с удивительным красноречием нападал на женскую суетность, на женское неблагоразумие.

Вмешивалась ли жена в разговор, он пускался в рассуждения о приличиях, об уме и вежливо, но немилосердно доказывал, что женщинам неприлично говорить, что они не умеют порядочно говорить ни о чем. Как часто она отшучивалась от его нападений, желая, по-видимому, уверить меня, что все это не от сердца, что он тот же и любит ее по-прежнему!.. "Признак слабого, - думал я, - когда он борется с сильным".

Словом, внимание, нежность и все добродетели, приличные ее полу, не могли уже воротить прошедшего. Такая разительная перемена, хотя я видел в ней естественный ход страстной любви, возбудила все мое любопытство. Чем более я сближался с Н., тем откровеннее он становился со мною; однако ж в наших беседах никогда не касался жены, как будто она не существовала.

Он хромал, и когда я спросил отчего, то получил в ответ: "пуля..." - и только.

Много времени прошло с его приезда в Москву, как однажды мы заговорились с ним наедине до глубокой ночи. Речь зашла о прекрасном поле.. Он воспламенился, что бывало редко; слова полились рекою с его языка, и на лице изобразилось негодование.

Я еще вижу его горькую улыбку, когда он сказал мне: "Только малодушный и неопытный может ожидать истинного счастья от женщины; женщина должна быть минутною забавой; кто же смотрит на нее другими глазами, кто полагает найти в ней какое-то существо чистое, возвышенное... тот жалко ошибается. Она так слабо сотворена, что у ней недо-

станет силы прожить целый век с одним чувством, с одной целью. Она всегда под чужим влиянием, а как положиться на того, в ком нет самостоятельности! Женщина любит страстно и, пожалуй, выйдет замуж за другого, потому что ее могут уговорить и бабушка, и маменька, и тетушки. Женщина умна, но никогда не бывает умна простодушно: ей все хочется блеснуть, озадачить. Женщина ласкова, добра, но до того, что надоест. Ей семнадцать лет: она резва, прекрасна; думаешь, что все помышления ее невинны, как голова младенца, что это чистый ангел, едва слетевший на землю, которая не успела еще запылить его белых крылий; а семнадцатилетний ребенок уже влюблен, умеет уже утаить свою любовь, умеет, не краснея, поклясться в вечной верности не тому, кого любит. О, я на этот счет разочарован... женщина, трюфли и шампанское - все равно!.."

С этими словами он отпер ящик в письменном столе; вынул небольшую тетрадь, подал мне и, засмеявшись, прибавил:

"Возьми, прочти, тебе пригодится: тут описано одним моим приятелем довольно стран-

ное приключение".

Я сохранил рукопись, полученную мною от N.

Вот она.

Кто проезжал Рязань, тот, верно, знает Степана Никитича; тот, верно, останавливался у него и слышал, как он хвастает своею мадерой. Живо я помню эту грязную осень, этот мрачный вечер, когда ни одна звезда не теплилась на небе и когда почтовые лошади едва дотащили меня до ворот рязанской гостиницы. Я был мученик нетерпения! Мне хотелось переменить время года, переправить дороги, сделаться чародеем, чтоб долететь скорее в объятия обожаемой жены! Как я суетился, чтоб немедля пуститься в путь, как крепко стоял против всех обольщений Степана Никитича, заверявшего, что у него есть и бифтекс, и котлеты, и мадера из Петербурга. Но на станции не было лошадей. Я послал отыскивать вольных, хотя извозчики и слуги твердили, что за Рязанью нет проезда, что надо переночевать.

Эти убеждения мало действовали на меня, однако поневоле должно было дожидаться. Я

расположился ужинать, мечтая о конце моего путешествия.

Не прошло десяти минут, как из соседственной комнаты послышались звуки гитары и мужского голоса. Ах, какого голоса!.. Страстный к музыке, я боялся пошевелиться на диване, чтоб не проронить ни одной ноты. Кто-то пропел сперва несколько куплетов из баллады:

Зачем, зачем вы разорвали

Союз сердец?

Потом:

Погасло дневное светило...

Ночь, мечты любви, заунывное расположение духа - все поселило во мне мысль, что светлые, пламенные звуки выливались из сердца, теснимого глубокою печалью. Я тихо подкрался к двери, чтоб посмотреть в замок на незнакомца, и мне удалось.

Он сидел, развалившись на софе; большие голубые глаза устремлены были в потолок; длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому признак сабельного удара; правая рука была подвязана; в левой он

держал гитару. На нем был военный сюртук; в петлице висел гевргий.

Всякий догадается, что мне захотелось познакомиться с занимательным офицером. На вопрос мой: кто это? мне сказали:

проезжий штабс-ротмистр С. Фамилия происходила от собственного имени. Я велел попросить у него позволения войти к нему, но он предупредил меня и явился сам. Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров, но черты были выразительны.

Передо мной стоял недюжинный человек. Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением; он ждал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив и язык его не имеет светской гибкости. Так как объяснения дорожных людей заключаются сначала в ответах на вопросы: куда?., откуда?., то я узнал, что он едет из действующей армии и что ему нужно побывать в Тамбове, в Саратове да в некоторых других городах.

Нам хотя недалеко, но предстоял один путь; мы условились отправиться вместе, и он охотно согласился заехать по дороге ко мне в деревню, куда я торопился к именинам жены... "О, как она обрадуется, - думал я, - такому гостю, она - певица в душе!.."

Мы сели ужинать; бутылки две доброго вина принесены были из моей коляски, а Степан Никитич подкрепил их своим шампанским. Воображение наше разыгралось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осетил мою душу и пленительным голосом, и мужественною наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый, дружеский прием сильно подействовал на него; он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца; теперь бы объяснил себе такую веселость проще, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив!

Хвастливость не проглядывала в речах

офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств. Он глядел как-ким-то бестрепетным соседом смерти, и его пламенный взгляд мог бы потрясти недоступную красавицу. В нем все было перемешано: и смерть и жизнь, и музыка и штыки. Когда я по русскому обычаю вздумал спросить: не родня ли вам такой-то ваш однофамилец? - то он с злобною улыбкой сказал мне: "Вы не знаете моей родни, да и черт ли вам в ней?" Разумеется, что после этого ответа я оставил его родню в покое. Но вино развязало и мой язык. Чародейная сила шампанского вечно переносит нас к предметам нашей нежности. Я под шум музыки и войны явился на поприще разговора с сердечным счастьем, с семейною жизнью, с милою женой; но едва успел произнести несколько слов об очарованиях супружеской любви, как на лицо моего собеседника набежало мрачное облако задумчивости. Он хлопнул стаканом о стол и начал беспокойно ходить по комнате.

- Что с вами сделалось? - спросил я.

- Ах, не напоминайте мне о любви и о жене... я также любил, - отвечал он, - да...

Тяжкий вздох вырвался из его широкой груди, и он замолчал.

Любопытство подстрекало меня. Я не стану распространяться о всех моих уловках, чтоб заставить его говорить, и до сих пор не знаю, что было причиною откровенности. Я ли внушил доверенность, вино ли высказало тайну, или он потому не скрыл ее, что никого не боялся?

Он закричал: "Шампанского!" - схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя левою рукою красивый ус, начал рассказывать почти следующим образом:

- Когда я родился, то ни одна словоохотная цыганка не смела бы предсказать, что этот сюртук будет на моих плечах и этот крест на моей груди. Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюкивали моей колыбели, и мать моя не приходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами. Не это вино назначено было (и стакан дрожал в его руке) развеселять мою голову, и если б я послушался своей судьбы, то не с вами бы садиться мне за ужин.

На медные деньги учили меня грамоте; но

я учился прилежно, потому что страстная охота петь припала ко мне с самого ребячества и чин дьячка сделался границею моего честолюбия. Я не пропускал ни одной службы в приходской церкви, важно выступал со свечою перед выносом, визжал громче всех в простонародном хоре и бормотал вслух молитвы при окончании обедни. Недолго дали мне расти в кругу этих скромных наслаждений: меня отняли от приходской церкви, от отца и матери. Этому давно; но даже и теперь наворачиваются иногда слезы на моих глазах, если случится мне хорошо припомнить, как я тогда плакал.

В один день - он был звезда моей жизни, второе рождение мое, театральный свисток, по которому меняется декорация, - в один день мне осмотрели зубы и губы; по осмотру заключили, что я флейта, отчего и отдали меня учиться на флейте. Я плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный плач мой, никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками отереть его слезы.

Меня готовили в куклы для прихотливой

скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца. Ей я всем обязан: она разорвала связь у минуты рождения с годами жизни и приворожила ко мне сердце женщины, которая была бы недоступна для меня, как скала Кавказа для казацкой лошади.

Правда, что музыка чуть не превратила моей головы в расстроенный инструмент, моих мыслей - в фальшивые ноты; но на краю гибели, на краю человеческого отчаяния она же подавала мне утешения, не подвластные никакому горю и ничьему произволу. Я пел, стоя у людей в задней шеренге; я скитался без приюта и пел, глодал черствый хлеб и пел... Ах, покуда струна, покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина меня может страдать, но другая все будет наслаждаться! Поневоле я стал учиться на флейте, но скоро пристрастился к ней; музыкальные способности развернулись во мне.

Много лет прошло, как мало-помалу я начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепьяно... Наконец пение сделалось моим исключительным заня-

тием.

Любители музыки дорожили моим дарованием, звали на квартеты, заставляли петь; но в их глазах я был только музыкант...

певец... или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, к которой во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиной. Меня хвалили, и эта похвала пахла милостью; мне удивлялись и, в знак высокого одобрения, трепали по плечу; меня называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на мое место, видно, всякий думал: "Ты гений, да дело не в этом!" Меня превозносили до небес, но так искренно, так обидно, как превозносит человек все, чему не завидует, как он рад прийти в восторг от того, кого считает ниже себя.

Я начал давать уроки и этим средством добывал деньги. Случай завел меня к одному молодому человеку; он не походил на других. Фанатик музыки, пламенный поклонник искусств, он преимущество дарования ставил чуть ли не выше всех преимуществ; он меня, выброшенного из числа людей, которых можно назвать, меня, музыканта, сажал за обед

рядом с каким-нибудь коллежским асессором. Признаюсь, что его обращение показалось мне сначала дико: я еще не привык к этому. Ему не было дела до того, что я, откуда я; он обходился со мною, как с другими, и от этого часто приводил меня в краску. Мне было ново, неловко, когда он при гостях заводил со мною разговор или просил садиться... Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть, - это самое мучительное чувство!.. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадетсЯ. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом? Молодой человек, мой благодетель, полюбил меня как равного, как друга.

Я все время, которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял меня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснея, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он, пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и

с моей души.

Жадно я хватался за книги; но, удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня: они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя! Я был существо, исключенное из книжной переписи людей, нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить... Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна...

У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ: то наряжает их в женщину, то подносит в мешках золота. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом, двенадцатый день, свое домашнее Ватерлоо... И у меня был такой год, такой день.

Человек, от которого я зависел, отправился на житье в одну губернию с намерением

исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы; в той же губернии, в том же уезде находилась и деревня моего благодетеля. По соседству, мне позволено было жить у него: я уже пользовался некоторою свободой.

Мы помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в наших головах; но, не знаю отчего, мысли мои сделались мрачнее и звуки родных песен стали ближе, понятнее моему сердцу, чем сам бессмертный Моцарт.

Мой брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил меня с иными, расхвалил мои дарования, а потому я тотчас вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей и у кого фортепьяно было совершенно мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы я сделался деревенским учителем, - и, признаюсь, в деревнях мне оказывали более почета, чем в столице, конечно только оттого, что мой покровитель никому не рассказывал моей истории и не было нужды в этих объяснениях. К тому же его обращение со мною

придавало мне невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно.

Однажды пригласили меня в ближнюю деревню к одной почтенной старушке, чтоб аккомпанировать какой-то приехавшей барышне. Я занемог немного, и мне не хотелось; но уговорили, уверили, что я отказом испорчу праздник. Это был день именин старушки, и внучка ее должна была непременно петь при пестром собрании гостей.

Важность обстоятельства убедила меня. Я, перемогая нездоровье, оделся понаряднее и отправился...

Заметьте, что я уже умел довольно смело предстать перед многочисленное заседание гостиной. Когда я говорю "довольно смело", - это значит, что я уже ходил не на цыпочках, что я уже ступал всею ногою и ноги мои не путались, хотя еще не было в них этой красивой свободы, с которой я теперь кладу их одна на другую, подгибаю, шаркаю и стучу... Я мог уже при многих перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла; но все, желая пощеголять знанием

светской вежливости, я к каждому слову прибавлял еще: с.

Как весело вошло солнце в этот день!.. О!.. Я только теперь чувствую, как хорошо его запомнил!.. Он тут, он весь тут (и здоровою рукою офицер бил себя по лбу), со всеми подробностями, со всеми мелочами!.. Мне кажется, я еще помню каждую струю Волги, каждый цветок, все лица, все звуки, все, на что я тогда взглянул или что услышал. Я могу пересказать вам этот день с такою же утомительною точностью, с таким же убийственным исчислением и слов и обстоятельств, с каким женщины пересказывают свои вчерашние разговоры или наряды, а старухи свои сны.

Светлый, прекрасный день, каких мало под нашим небом!..

Я ехал по нагорной стороне Волги. Она, подернутая лучами солнца, присмирела тогда в неровных берегах.;, тихо катилась, как будто бессильный ручей! Кой-где крестьянские ребяташки играли по ней в своих челноках... ни одной волны, ни одной быстрой струи... О, как я любовался нашей Волгой! Прохладный ветер обвевал меня! Что-то душистое было в

воздухе, что-то очаровательное на этой громаде воды, на этом море зелени по луговой стороне! Верно, природа, как помещица, к которой я спешил, праздновала свои именины. В эту минуту я был более человек, более музыкант, чем когда-нибудь. Мне хотелось петь, я чувл вдохновение... но этот порыв внутреннего жара недолго подстрекал мои способности. Я доехал наконец туда, где по общему правилу должен был встретить столько грубых ушей, столько безответных душ, должен был превращать *allegro* в *andante* и *adagio* в *allegro*, то оттягивать, то гнаться в погоню за пискливым голосом какой-нибудь деревенской барышни. Мученическая должность учителя приучила меня к равнодушному, к ангельскому терпению, и с поникшей головой я был уже готов на жестокое испытание.

Передо мной промчалась к крыльцу коляска в шесть лошадей.

Мне также хотелось подъехать за нею, но на террасе перед домом стояли гости, а у меня не достало душевной силы на такой отважный поступок. При -подобных случаях какой-то досадный голос напоминал мне: "Ко-

ляска и ты разница". Я оробел, оставил свой экипаж у околицы и прокрался в дом, не будучи замечен.

В передней ожидала меня беда: должно было докладывать обо мне, и мне пришлось входить одному. Вы можете судить, что происходило в моем сердце, но волею-неволею надобно было решиться. Долго я поправлял волосы, отряхал пыль, наконец вошел, разумеется, немножко боком и держась к стенке. По счастью, картина, поразившая меня, придала мне бодрости.

Много набралось туда деревенских соседей и соседок, но какойто оригинальный беспорядок царствовал в этой толпе. Беспорядок был во всем, и в платьях, и в положениях, и в лицах. Свободная, беспечная жизнь полей с своей дикостью, с своей небрежностью, с своим своевољством отражалась в зеркале этого общества. Койгде мелькало женское жеманство, кой-где проглядывало лицо, как будто упавшее с неба. Тут завитые усы, там нечесаная голова, тут жилет, опутанный золотою цепью, там неглаженое платье, но тут же и чепчик из Москвы с Кузнецкого моста, тут же

ловко стянутый стан и великолепно взбитые волосы. Я подумал:

"Нечего робеть" - и подошел к хозяйке.

Достаточно дряхлая старушка сидела в креслах, положив ноги на скамейку; перед ней лежала вышитая по канве подушка, которую она показывала усевшимся около нее барыням, и приметное чувство гордости, смешанной с удовольствием, одушевляло на время ее улыбку, ее безжизненные глаза.

- Это мне подарила Александрина, - повторяла она, важно поворачиваясь то на ту, то на другую сторону.

Я успел уже ей три раза поклониться и, вероятно, по милости подушки долго бы продолжал кланяться, если б какая-то молодая девушка, которую я в замешательстве не разглядел порядочно, не толкнула ее и не шепнула ей чего-то на ухо, вероятно обо мне, потому что она тотчас обернулась, а вместе с нею и все почтенное заседание, приподнялась на креслах и сказала:

- Ах, это вы, батюшка; покорно благодарю, что пожаловали; я об вас много наслышалась от Владимира Семеновича; говорят, вы боль-

шой музыкант, а ко мне приехала погостить музыкантша, внучка моя... Сашенька, поди сюда!

И та, которую, конечно, звали Сашенькой, подошла. Признаюсь, мне было-не до Сашеньки: все глаза уставились на меня, и я горел, как на огне; однако ж я робко возвел мои очи на внучку, и сердце мое шепнуло мне: "Она должна хорошо петь".

- Рекомендую вам внучку мою, - продолжала старушка, - уж такая охотница до музыки!.. Прошу ко мне почаще жаловать:

вы будете с нею петь; ей надобно же не забывать, чему училась.

А где Владимир Семенович? Что же он не с вами?

- Он поехал по делам в город, - отвечал я, - может быть, сегодня вечером воротится.

- Ах он, злодей, - сказала она, - совсем бросил старуху; я с ним за это побранюсь; он вами не нахвалится. Не хотите ли, батюшка, взглянуть на подарок, какой сделала мне сегодня Александрина? - И с этим словом она протянула обе руки с несносною подушкой...

"Скоро ли ты отпустишь меня?", - думал я и

между тем пристально смотрел и неловко кланялся и шевелил губами, как будто расхваливал ненаглядный подарок. Наконец старуха унялась, проговорила: "Милости просим садиться"; ее гости перестали мерить меня с головы до ног, потому что кто-то еще приехал; я сошел с выставки и перевел дух.

Когда я отдохнул от замирания стыдливости, то вспомнил тотчас свой первый взгляд на Александрину и ее первое впечатление на меня.

"Она должна хорошо петь", - вот все, что мелькнуло мне в ней. По естественному порядку своих музыкальных мыслей, я из угла комнаты начал разглядывать это существо, которое должно хорошо петь.

Я не скажу вам, что она понравилась мне, не могу этого сказать; с словом нравиться соединяется какая-то мысль о равенстве, а Александрина так далеко стояла от меня в гражданском быту, что я не догадался бы вдруг, если б в самом деле она понравилась мне. Нет, это чувство при первой встрече с нею не могло заглянуть в мою душу, в которой от унижения так много было робости.

Я смотрел на нее, как на картину, которая не продается, которую нечем купить; как на ноты, по которым предсказывал себе волшебное согласие их звуков; смотрел не как человек, а как музыкант.

Однако ж я разглядел эти голубые глаза, полные какой-то мечтательной жизни, эти щеки, где играл тонкий румянец весны, и живописную нестройность белокурых волос, и легкий стан, и быструю ножку. На ней было белое платье, за голубым поясом пук цветов; она то и знай подбегала к бабушке, потому что та беспрестанно ее кликала.

Будь я тогда тем, что теперь, я прочел бы на лице Александрины, в ее походке, в ее словах это простодушие неопытного сердца, чистого, как снег на головах Эльборуса; эту смелость невинности, которая не боится завтрашнего дня, потому что не знает еще, чего бояться; эту теплоту души, которая не устала ни от любви, ни от горя, ни от радости... Вот что представилось бы моему воображению, если б я был тем, что теперь; но нет, тогда все эти мысли я выразил для себя иначе. Я подумал только:

"Как она должна быть добра!"

Между тем как я рассматривал юную музыкантшу, рука моя невольно поправляла галстук, или, сказать по-русски, я невольно охорашивался. Отгадайте причину человеческих движений! Старуха опять что-то заговорила со мной, но ее красноречие было прервано водкой и громким возгласом: "Кушать поставили".

Я сидел бы за обедом, как в пустыне, потому что никого не знал, если б не попался мне в соседи какой-то любитель музыки:

он замучил меня своей музыкальной историей, рассказывал, как выучился на скрипке и на чекане, как составил оркестр из дворовых людей, чего ему это стоило, как ему нравится h-мольный концерт, который он учит, и, наконец, звал меня к себе. Скучно было его слушать, но, по крайней мере, он был мне за столом поддержкою. Все молчать в кругу незнакомых было для меня то же, что громко говорить при всех.

Мирно обедал я вдали от хозяйки, на униженном краю стола; и по какой-то особенной сметливости слуг каждое блюдо подава-

ли мне последнему, отчего и случилось, что из множества раков мне достался один, а спаржу, салат и клубничный пирог я видел только в почтительном расстоянии. Но эти маловажные обстоятельства не в силах были раздражить моей щекотливости. Для нее готовилось другое истязание, получше, подействительнее. Недалеко от меня сидел какой-то господин с молчанием на устах, с унынием на лице, худощавый и по виду пречувствительный.

Под конец уже обеда развязался его язык, и он начал с кем-то разговаривать через стол. Я не обращал туда никакого внимания, завоеванный моим соседом, как вдруг мое сердце забилось, лицо вспыхнуло, и глаза остановились, прикованные к этому худощавому чувствительному человеку. Чуткий слух мой поймал его слова:

- А я сегодня обработал славное дело: продал двух музыкантов по тысяче рублей штуку.

Сосед мой заметил мне на ухо:

- Тотчас видно не музыканта! Я ни за одного из своих и по две не возьму.

Вы понимаете, что я чувствовал, чего мне хотелось; но не то было время. Теперь я не посоветовал бы так распространяться при мне про домашние дела своего оркестра, а тогда я мог только покраснеть, задрожать и с тоскою глубокого оскорбления взглянуть на другой конец стола, туда, на милую Александрину, как будто затем, чтоб в ее добрых, человеколюбивых чертах найти защиту от обиды, чтоб утешиться, чтоб помириться с людьми, увидев на ее благородном лице: она не скажет этого, она не продаст музыканта! Да, это было так.

(Слезы навернулись на глазах офицера; он встал, прошелся по комнате и, наливая в стаканы шампанского из третьей бутылки, продолжал.)

Обед кончился, как кончаются все обеды: наелись, нашумелись и встали. Долго не мог я собраться с духом после жестоких слов; невольно задумывался, не находил нигде места, а худощавый человек все вертелся около меня и даже, узнавши, что я музыкант, подлетел беседовать со мною.

В этом мрачном расположении застал ме-

ня час музыки. Все разбрелись кто куда пошло; я стоял один на террасе, перед которой большой круг был усажен полным собранием цветов.

Вдали раздавались пьяные напевы мужиков, пировавших также на именинах у своей барыни. Солнце садилось. Я весь погружен был в мою судьбу, как вдруг явилась передо мной Александрина.

- Не знаю отчего, - сказала она, - бабушке хочется непременно, чтоб я пела; не угодно ли вам посмотреть: что бы выбрать?

Я никогда не пою при всех и так робею...

Ее слова, ее голос освежили мое воображение; я подошел к фортепьяно; но не успели мы ни порядочно согласиться, что ей петь, ни сделать репетиции, как притащилась бабушка, за нею барыни, а там собрались почти все. Мой сосед по обеду, как знаток, расположился за моим стулом, а худощавый человек, будто божие наказание, прямо перед моими глазами. Но тут уже он не в состоянии был оскорбить меня: у нас не было уже ничего общего.

Пальцы мои коснулись клавишей, и душа моя перелетела в другой мир, где мы не мог-

ли с ним встретиться.

Александрина стояла возле меня и приметно робела; беспокойно поднималась ее грудь, белая, как голубь на солнце. Ах, когда после нескольких аккордов вылетели из этой груди первые звуки, еще дрожащие, еще боязливые, - право, чуть пальцы мои не онемели... ноты исчезли, я обернулся к ней... Знаете ли вы, что такое контральто, это соединение твердости и мягкости, силы и нежности, сладострастия и мужества, которого недостаток так ощутителен в сопрано? Знаете ли вы, что такое голубые глаза и шестнадцать лет... этот блистательный миг в женской жизни, этот лучший аккорд творца, обворожительный, полный, в котором слышно и небо и землю, которому нет подобного ни у Гайдна, ни у Моцарта?.. У Александрины был чистый контральто, не довольно еще выработанный; но ей было шестнадцать лет, но у нее были голубые глаза. Каждую минуту голос ее становился смелее, и сердце мое замирало от упоения!..

Она кончила; зашумели кругом нелепые, заученные восклицания; все хвалили; я один

не умел сказать ни слова. Бабушка целовала внучку и вдруг ко мне с вопросом:

- Как вы находите, батюшка, хорошо моя-то поет?

- Прекрасно-с, - отвечал я и злился на себя за холод ответа.

- Теперь ваша очередь, - продолжала старушка и, разумеется, напомнила опять, что она наслышалась обо мне от Владимира Семеновича. Александрина вертелась, не обращая на меня никакого внимания. Я никогда не был так самолюбив, как в эту минуту!..

Сидеть незамеченным, молча, когда все кругом лепетало без связи, без смысла, когда она и не воображала, что я один почувствовал ее!.. Заставить, чтоб она также загляделась на меня, чтоб она также заслушалась, - эта честолюбивая мысль привела в движение все струны моего сердца. Моя стыдливость пропала; для меня уже не существовал никто, ни бабушка, ни сосед, ни худощавый человек, ни вся эта бестолковая толпа: передо мной стояли фортепьяно и Александрина. Не знаю, какво я пел, но она все подходила ближе ко мне, перестала смотреть по сторонам; глаза

ее остановились на певце... Ах, чтоб околдовать душу, не надобно говорить, не надобно уметь говорить, надобно петь. Слова - ум, душа - звуки; слова ограничены, как ум; одни звуки так же неопределенны, как душа. Я не стану пересказывать вам толков, которыми осаждали меня мертвые уста моих слушателей: я глядел не на них, я их не слышал. Александрина задумалась; я наслаждался уже впечатлением, которое было предметом всех способностей моей души; но торжество мое продолжалось недолго. Мне мечталось, что мы равны с нею, что мы жили в царстве музыки... я позабыл, кто я!.. Как вдруг она несмело подошла ко мне, и несколько слов, тихо сказанных ею, так меня образумили, что я покраснел, встал со стула, увидел опять и бабушку, и соседа, и худощавого человека. Александрина сказала мне что-то по-французски: она не думала, что можно хорошо петь и не знать этого языка; она полагала, что я воспитан в ее понятиях, что равенство дарования равняет нас во всем... но ошиблась, но растерзала меня. Не помню, как я отделался от проклятой фразы. Приехал - Владимир Семенович.

вич; пение возобновилось, я оправился. Александрина говорила уже со мной по-русски, говорила много, говорила сладко. Когда мы с моим благодетелем стали собираться в дорогу, то бабушка отвела меня в сторону, повторила, чтоб я ездил давать уроки ее внучке, и совала мне в руку сколько-то денег. Я не взял. Александрина также звала меня, но, слава богу, не давала денег. Мы поехали. Контральто, голубые глаза и французский язык не выходили у меня из головы; месяц светил на Волгу, но мальчишки не играли уже по ней, и ветер страшно колыхал ее.

Смешно сказать! - я на другой же день присел за французскую азбуку: Владимир Семенович сделался моим учителем.

Какие мучения вытерпывал я! Язык мой затвердел от лет; напрасно я переламывал его упрямство: он сохранил характер первого воспитания. Зато ручаюсь вам, что никто не проклинал французов столько, как я!..

Как досказывать вам мою чудную историю? Как передать ее речи, ее взгляды, ее любовь, которая облагородила мое сердце, но заразила его мстительным негодованием, неис-

целимым ропотом? Любовь показала мне ясно, лучше, чем все рассуждения, что подо мною не было никого и сколько надо мною!.. Вы догадываетесь, как часто я видал Александрина. Их дом походил на совершенное уединение: бабушка и она. Часто мы оставались с нею одни; мы пели, и тут спевались сердца наши.

Этот рубец не обезобразивал еще моего лба, и лицо мое не было опалено южным солнцем. Я был моложе. Вы не поверите, с какою детской радостью выбегала она ко мне навстречу, когда я приезжал, и каким огнем горели ее глаза, когда я пел!

Ах, истинной привязанности к искусствам надобно искать в поле, в глуши деревень, где роскошь и суэта не притупляют чувств, где под необразованной одеждой бьется свежее сердце!

Ах, чтоб узнать, хорошо ли вы поете, тлится ли в вас святая искра дарования, надобно, чтоб вы пели не в столице, надобно, чтоб вас слушала шестнадцатилетняя девушка с белокурыми волосами!

Наедине с Александринной я уже не робел,

говорил смело; какое-то нелепое чувство равенства с нею заглушало во мне память о моем состоянии. Это был мир музыки, мир страсти. Но, оставляя Александрина, я переселялся в мир существенный и мерил мысленно необъятное пространство, разделяющее нас.

Тут не было места надежде, тут мне не помогало легкое верие человеческое. Никакая мечтательная голова не могла бы построить воздушного замка, где б мы очутились вместе, в объятиях один другого. Тяжкая мысль! Однако же я принимал меры, чтоб вырваться из-под ига судьбы. Я знал, что Александрина не может быть моею; но не мог жить без нее; но был бы несчастнейший из людей, если б она меня не любила; но, кажется, зарезал бы того, кто разлучил бы нас. Дни проходили: каждый был для меня и горе и радость. Нельзя выразить, что я в это время передумал и переживал. Я торопился жить: у меня не было будущего. Мы давно догадались, что любим друг друга, и все не высказывали этого:

как будто предчувствие останавливало нас обоих; как будто мы предвидели, что слово люблю страшно, что с ним выступят предрас-

судки, преступления, смерть. Оно было целью, до которой я не желал достигнуть: после не оставалось ничего. Я не мог осуществить мечты любви, так мне хотелось все мечтать, продолжить донельзя это нерешенное положение двух сердец, не сочинять развязки к этой обворожительной драме. Но как удержаться в границах рассудка и сказать себе: ты не пойдешь далее?

Часто, как водится, мы намекали друг другу о нашей тайне. Так, например, я стоял однажды за стулом Александрины, которая читала бабушке "Руслана и Людмилу". Стих: "Пастух! Я не люблю тебя" - она произнесла выразительно, а между тем зажала паль-

цем частицу не и украдкой взглянула на меня. Много бывало таких намеков с обеих сторон, но дошло наконец до объяснения.

Однажды я приехал вечером; мы расположились в зале заниматься музыкой; старушка сидела в дальней комшгее за пасьянсом. Глаза Александрины были заплаканы, и прежде чем я успел спросить: отчего?., она сказала печально:

- Вообразите, я должна ехать от бабушки:

нам должно расстаться.

Я не помню, что я ей тут отвечал; помню только, что щеки мои пылали; что я держал обеими руками ее дрожащую руку, на которую падали мои крупные слезы, которую жгли мои поцелуи. Она вырывала руку, и между тем уста ее произносили клятву, что она никого не будет любить, кроме меня; что, кроме меня, не будет ни за кем.

- Что вы сказали? Кому вы поклялись? - говорил я, и кровь останавливалась в моих жилах, и туман застилал глаза. - Ах, вы созданы не для меня: для вас другая дорога, для вас и любовь, и счастье, и цветы, и весна, и весь божий свет; вам ли думать обо мне? Что я? Откуда я?

Александрина заливалась слезами и боязливо, с потупленным взором шептала уверения, которые дышали чистой, бескорыстной страстью, в которых каждый звук был чувство, глубокое, искреннее чувство... Ах! Как она была хороша! Как я был горд в эту минуту!.. Я увидел новую жизнь, новый свет!..

В первый раз отчаянье притаилось в моем бунтующем сердце; в первый раз рассудок

перестал мучить меня. Без страха, со всем легковерием любви, со всею бессмыслицей надежды я произнес наконец свой приговор:

- Знаете ли, на кого вы смотрите? Знаете ли, кто стоит перед вами? Знаете ли, кому вы поклялись?.. Я - крепостной человек.

Я выговорил смело и оробел. Я вдруг почувствовал, что нет более равенства между нами, и выпустил ее руку.

Не так быстро свалился я с лошади, когда персидская сабля разнесла мне череп, как побледнела моя Александрина и упала ко мне на руку. На этой руке, заклеymенной турецкою пулей, лежала она!.. Нежное творение!.. От одного слова не устояла на ногах! Мне нужно было только назвать себя, чтоб испугать самую горячую любовь... Поверите ли? Я без жалости взглянул сперва на ее закатившиеся глаза, на ее помертвелое лицо... Какое-то глубокое презрение к женской слабости охолодило мое сердце. Я сказал слово, но я был тот же... Куда ж девались красноречивые взгляды, алые щеки, эта жизнь первой весны, этот яркий цвет красоты и юности?.. Обморок обидел и меня и любовь.

Но едва мелькнула эта мысль, как я вспомнил, что у меня на руке лежала милая, добрая, чувствительная Александрина, ангел, осветивший мою душу непорочным огнем, источник всех возвышенных волнений моего сердца, моя единственная мечта, мое благородство, моя честь, моя слава!..

Я, сжал ее в судорожных объятиях и поцеловал... Она не очнулась даже и от этого поцелуя. На мой крик прибежали люди и бабушка.

(Офицер поставил опорожненный стакан, оперся локтем левой руки на колено, положил лицо на ладонь и задумался. Все спало кругом нас. Он просидел молча несколько минут. Потом, не переменяя положения, принялся опять рассказывать.)

- Что с тобою? ты расстроен? ты, верно, знаешь? - сказал мне Владимир Семенович, когда я вошел к нему в комнату.

- Что такое? Ничего не знаю, - отвечал я.

- Я сейчас от твоего барина, - продолжал Владимир Семенович, - я предлагал ему, наконец, за тебя десять тысяч рублей. Он говорит, что теперь с радостью бы взял, но не может, а не может потому, что, как я узнал, деревня, к

которой ты приписан, и ты сам - проиграны. Только не отчаивайся: я думаю, мы найдем средства сладить с твоим новым господином, хоть, сказывают, он человек тяжелый. Куда же ты?

- Пойду в свою комнату спать...

Я вышел, я шел, не зная куда; вся кровь вступила мне в голову; вечность страданий уместилась в одну ночь; по-настоящему я откупился тогда от них на целую жизнь и в здешнем и в будущем мире!.. Какие-то страшные образы летали перед моими глазами; кто-то нашептывал мне на ухо про смерть, про мщение... То казалось, что я вижу свадебный ужин, за которым сидит Александрина с женихом, а я стою у них за стулом, с тарелкой, и жених приказывает мне: "Петрушка, подай воды!"

То казалось (тут офицер засмеялся, но его губы затряслись, точно от судороги гнева), что я вижу моего бывшего барина...

за столом, на котором лежат кучи золота и карты... бледного...

растрепанного... он держится за пятерку и кричит: "Бейте, идет остальное, и Петрушка

ваш... Я его ни за какие деньги не хотел отпустить на волю, но так и быть, бейте..." - и пятерка падает направо.

Эти отвратительные привидения носились передо мной по широкой Волге, она бунтовала под моими ногами... Я помню, что я стоял на ее крутом берегу, я смотрел в бездну, я мерил расстояние между жизнью и смертью... Я помню, что я очутился в спальне моего барина... Лампада теплилась перед образом, и первые лучи утренней зари прокрадывались сквозь закрытые ставни. У меня в руке была бритва. Я смело подошел к кровати, с отвагой убийцы отдернул занавес, но... я говорю правду... рука моя опустилась прежде, чем я увидел, что в постели никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дело. Все, однако ж, я должен благодарить провидение, что он не ночевал дома: он проигрывал последнее и - проиграл. Жаль, что мы теперь не можем встретиться с ним! Верно, он предчувствовал, что на земле негде ему спрятаться от меня, и спрятался на три аршина в землю. Бог ему судья!., он сделал лучше, что поставил меня на карту.

Я стоял у постели, все члены мои дрожали, холодный пот катился с лица, и язык повторял невнятно: "Злодей, убийца!.."

Изнемогая и телом и душою, я повалился перед образами, но не мог молиться: у меня не было ни одной ясной мысли, ни одного понятного чувства. Все перепуталось: и безумие любви, и ненависть, и унижение, и гордость, и рай, и ад. Я лежал и вглядывался в распятие, стараясь вспомнить, что оно значит. Сердце мое так стучало, что я испугался наконец:

мне послышалось, что кто-то идет. С ужасом вскочил я, спрятал бритву и выбежал из спальни, как Гамлет, преследуемый тенью отца. В передней догорала свеча, и человек, мой брат, дожидавшийся барина, спал крепким сном. Тут я пришел в себя и отправился домой, но не мог уже успокоиться. Перемена судьбы сделалась для меня необходимостью, воздухом, без которого нельзя дышать. Сибирь, голод, мороз, Нерчинские рудники - я все это перечел себе по пальцам в одну ночь и вывел заключение, что там мне будет лучше. На другой же день я бежал, пригладил во-

лосы, вздел армяк и запустил бороду. Мне хотелось, по обычаю русских беглецов, обратиться в Одессу, а если поймают, назваться непомнящим родства.

Цель моего побега была попасть в солдаты или умереть от своей руки. Когда мне представлялось, что я солдат, то какой-то луч надежды сверкал передо мною, и Александрина являлась тут с своею улыбкой. Дома я оставил письмо, что бросился в Волгу. Все дело в решимости: я решился - и мне стало легче.

Не зная порядочно дорог, не имея ни малейшего сведения о притонах, где гостеприимные хозяева дают ночлеги удальцам Руси, я бродил, как Каин. Голая, осенняя земля бывала часто мне постелью, а засохлый хлеб - пищею. Но на последней ступени унижения и нищеты, глаз на глаз с жизнью, которую судьба разоблачила от всех соблазнов и показала мне без прикрас в безобразной наготе... у меня были торжественные минуты!

Представьте себе человека без родных, без друзей, без знакомых, словом, одного на земле, только с темным воспоминанием о каком-то голосе, о какой-то женщине!.. Пред-

ставьте, что этот человек идет по необозримой степи, смотрит на небо, усеянное миллионами звезд, и поет: я пел, что певала она.

Теперь вообразите себе земскую полицию, уездный суд, душную тюрьму уездного города... Вообразите заклеянные лица и лица, приготовленные, сотворенные для клейма: это были мои судьи, мое жилище и мои товарищи.

Меня взяли как беспаспортного и привели к исправнику.

Он прежде допроса схватил меня за ворот и замахнулся; но бог спас нас обоих. Блюститель благочиния и порядка, верно, хотел только начать с чего следует и постращать меня, но не ударить; а я видел уже минуту, как неумытый судья полетит вверх ногами к подножию зерцала.

"Не помню родных, не знаю, как меня зовут, не знаю имен, ни городов, ни сел, где проходил и останавливался, не знаю никого и ничего", - вот что отвечал я исправнику и в уездном суде, стараясь смягчить свой голос и принимая вид покорности. Меня судили как непомнящего родства, и долго судили. Нако-

нец наступил час моего искупления. Все на свете кончается, кончилось и мое дело. Я был приговорен в солдаты и поступил в арестантские роты. С чем сравнить мой тогдашний восторг?.. Птица, выпущенная в благовещенье из клетки, преступник, прощенный под топором палача, могли бы вам дать понятие о чувстве, с которым я надел серую шинель!.. Никому жизнь солдата не представлялась в таких очаровательных красках! Я дышал свободно, я смотрел смело, меня уже не пугала барская прихоть; я сделался слугою не людей, но смерти; я знал, что она не выдаст своей жертвы. Тогда открывалась персидская война. Разумеется, меня заметили между моими товарищами: мой голос, музыка внушили участие; я поверил свою тайну одному доброму начальнику и попал в действующую армию. И у меня наконец явилось будущее: поле, штыки!..

Не раз я целовал солдатский мундир, обливая его слезами...

О, благодарность к нему простынет разве тогда, как глаза мои засыплются землею!.. Томительные переходы, знойное солнце, все во-

енные тягости не подавили моих душевных сил, не отняли у меня ни бодрости, ни надежд. Ни одной минуты я не роптал на мой новый жребий, я был ему рад до исступления, он делал меня человеком... Как ребенок, повторял я себе:

"Ты золдат!" - и сердце мое билось весело, и смело улыбался я при мысли о своем барине. С каким поэтическим трепетом увидел я в первый раз это поприще, где падают люди не по выбору, а кто попадет, где презрение к жизни может задушить человеческое лицепрятие и поставить первым того, кто стоял последний!.. С какой отчаянной решимостью бросился я, когда в первый раз услышал дикий крик смерти и победы:

"Ружья на руку, скорым шагом, марш!" Мне нужно было выместить на ком-нибудь все прошедшее. Мне казалось, что каждый персианин был моим барином, был ступенью к руке Александрины.

После того сражения, где мы под градом неприятельских картеч шли через мост на приступ, распевая песню: "По мосту, мосту", я получил первую награду, солдатский Геор-

гий. Он был мне дан по приговору моих товарищей.

Офицер перестал рассказывать, но, опускаясь на диван и смыкая глаза, проговорил почти шепотом: "Сдержала ли она свою клятву?" Сальные свечи давно уже были переменены, четвертая бутылка шампанского допита, и лошади готовы. Признаюсь, я досадовал, что поторопился пригласить его к себе... Он казался мне страшен, я чувствовал невольное отвращение к нему, не умея объяснить причины... Но делать было нечего. Я старался дорогой выведать, кто такой его бывший барин, кто такой Владимир Семенович и кто Александрина? уверял, что, может быть, дам ему об них сведения; но он не хотел называть никого.

Он отвечал мне, что Александрина легко могла забыть его, так зачем же пятнать молодую девушку, которая сама не знала, что делала, которая, вероятно, сохранила доброе имя, если и нарушила клятву?

Как он был разговорчив за вином, так после сделался молчалив и во всю дорогу спал. Мы приехали поздно вечером накануне име-

нин жены. Мне сказали, что она больна и легла уже в постелю. Я умирал от нетерпения видеться с нею после продолжительной разлуки, но не решился разбудить ее: не было счастья, которого б я не отдал за ее здоровье, за один миг ее покоя.

Как она обрадовалась мне на другой день! Заиграл румянец на бледном лице, запрыгали слабые глаза. Я объявил ей, что привез гостя; но принять его она не могла, и даже не могла обедать с нами, а обещала выйти к концу стола, если силы позволят.

Много собралось к нам соседей, которые с большим почтением смотрели на моего офицера. Как он был хорош в мундире!

Какой мужественный вид! Какая стройность! Какое выражение в чертах! Прекрасные волосы, раны, широкая грудь, увешанная крестами, - все привлекало внимание, все говорило воображению. Только видно было, что он устал от рязанской гостиницы, потому что сначала был чрезвычайно задумчив. Мы обедали довольно шумно, хотя мои соседи не смели очень развернуться при великолепном офицере. К концу стола расшутился и он;

праздник стал веселее, и я послал сказать жене, что мы пьем ее здоровье.

В самый развал обеденного пира двери из ее комнат растворились, и показалась она, еще томная, слабая. Все встали.

Я подошел к ней, чтоб представить офицера; но когда, протягивая руку, обернулся к нему со словами: "Вот моя жена", он стоял окаменелый, он не двигался с места, глаза его замерли на ней... Все кругом кричали: "Честь имеем поздравить вас, Александра Дмитриевна, со днем вашего ангела!.."

Она сделала несколько шагов к офицеру, но едва успела проговорить: "Я очень рада случаю...", как страшно побледнела, подошла к нему ближе, но не договорила, зашаталась и, облакачиваясь ко мне на руку, шептала: "Друг мой, мне дурно". Офицер не шевелился, не раскрывал рта и во все глаза глядел на мою жену. Я отвел ее; она упала на кровать и умиравшим голосом повторяла: "Напрасно я вышла, я так еще слаба!" Думаю, что я посмотрел на нее довольно выразительно.

Когда я воротился в столовую, все оглушили меня вопросами: "Какова Александра

Дмитриевна? Что с нею? Напрасно, кажется, она изволила выйти". Мне было не до ответов!.. Он еще стоял тут, все тот же, ужасный, как тень в "Макбете"!..

Он еще не отвел оцепенелого взгляда от двери, в которую вышла жена! Наконец ноги его подогнулись точно сами собою; он сел; выпустил из руки рюмку и стал кусать губы.

Мертвая тишина продолжалась до конца обеда...

После мой спутник поклонился мне молча и пропал. Та, которая поклялась ему, та, которую он поцеловал...

(На этом месте в рукописи нельзя разобрать многих слов:

они забрызганы чернилами, по-видимому оттого, что перо было брошено на бумагу.)

Я подсмотрел однажды, как... плакала украдкой... мне...

тесно с ним под одним солнцем... мы встретились... оба вместе упали. Он не встал, я хромаю.

(1832}

Н. Ф. ПАВЛОВ

Именины. Печатается по изданию: Павлов

Н. Ф. Повести и стихи. М.: ГИХЛ, 1957.

С. 215. Мускус - сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных, а также имеющееся в корнях и семенах некоторых растений; употребляется в парфюмерии и медицине. Здесь: сильнодействующее средство.

С. 218. ...незнакомец осетил мою душу... - осетить - захватить как сеть, пленить, подчинить себе.

С. 225. Чекан, или чакан - род флейты.